8070

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И. И. МАЙНОВ.

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ

1349—1891.

331:677
М-14
дубли. (677) сс. 94.
Т. Моршанская - Ткач
Федор Афанасьев.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ МОСКВА 1924 г.

Отпечатано в типографии
Изд-ва „Красная Новь"
в количестве 7.000 экземп.
Главлит № 17757.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

2270
34

I.

Крестьянин Сычевского уезда, Смоленской губернии, по занятию ткач, человек, почти всамоучку овладевший грамотой и только урывками успевший приобрести кое-какие знания, Петр Алексеев в 28-летнем возрасте сделал свое имя известным всей грамотной России. Революционно настроенная интеллигентская молодежь и немногие рабочие, которые в те годы примыкали к революционным кружкам, видели в личности Петра Алексеева неоспоримое доказательство правоты их взгляда на русский народ, на его затаенные чувства и на его подавляемые нищетой и гнетом, но все-таки не заглохшие дарования. Другие, питавшие страх к революции, и не ожидавшие от нее ничего, кроме всеобщей разрухи, с негодованием и почти с ужасом увидели среди „кучки нигилистов",—как они называли немногочисленные кружки тогдашних революционеров,—подлинного русского „мужика", имевшего дерзость со скамьи подсудимых бросить в лицо надменным сенаторам, а через их головы и всему императорскому правительству, страшные обвинения и грозное предвещание неминуемой гибели. И революционеры, и защитники царского правительства в 1887 году были одинаково поражены небывалым ранее событием, казавшимся невозможным в России: мужик заговорил!.. И как заговорил,—не коленопреклонно, не грубым заплетающимся языком невежественного полудикаря, а ясным и твердым языком гражданина, сознающего свое человеческое достоинство и свои попираемые права.

До выступления Алексеева с его речью перед судьями-сенаторами молодежь верила в то, что русский народ, эта „темная масса", не навек останется во мраке, что рано или поздно она сознает свое положение, почувствует свою силу и могучим порывом стряхнет с себя вековые цепи.

Но чтобы „мужик" уже теперь оказался в состоянии усваивать широкие идеи, проникаться чувствами гражданина и выражать их ярко, страстно и одушевленно, прямо

в лицо высшим сановникам империи,—это почти всем в тогдашней России казалось явно невозможным... И однако, откуда-то из деревни Новинской, затерявшейся где-то в глуши далекого от столиц Сычевского уезда, встал предо всеми воочию именно такой русский крестьянин, с детства мыкавшийся по фабрикам и ни в каких школах не обучавшийся, и в огненной речи он проявил себя не взрослым ребенком, не звероподобным дикарем, а человеком широкой мысли, бесстрашным и сознательным борцом за лучшее будущее крестьян и рабочих... Позже все чаще и чаще на скамье подсудимых в многочисленных политических процессах конца семидесятых и восьмидесятых годов начали появляться представители рабочего мира, и некоторые из них по своему образованию стояли выше Алексеева, многие не уступали ему по своей твердости. Но впечатление, какое они производили на суд и на публику, уже не имело в себе ничего ошеломляющего. Теперь все уже знали, а позже все привыкли к тому, что рабочий может мыслить, действовать и высказываться, как и всякий другой гражданин. Притом никому из позднейших борцов не представлялось удобного случая для такого же блестящего выступления, каким в марте 1877 года было выступление Петра Алексеева; а может быть никто из них не имел и такого могучего темперамента, и такого ораторского таланта, как Алексеев. Позднейшие политические процессы производились уже в военных судах и велись при закрытых дверях; произносить пламенные речи там было уже невозможно; председатели обрывали подсудимых на каждом слове.

Алексеев же сумел довести свою речь до конца. Суд был захвачен ею как бы врасплох. Сначала сенаторы, что называется, онемели от изумления, а потом, когда председатель спохватился и пытался прервать оратора, было уже поздно. Несмотря на гневный окрик первоприсутствующего: „молчать! молчать!“, Алексеев (рослый и необыкновенно плотный мужчина, огромной физической силы), подняв свою могучую руку и повысив голос, успел отчеканить в лицо судьям свое знаменитое предсказание, что придет время, когда „подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!“.

Эти слова оратора-ткача, хотя их непосредственно слышало всего несколько сотен человек, пронеслись далеко за стены суда и раздались по всей России как первый удар надвигающейся грозы. Напрасно правительство принимало все меры к тому, чтобы заглушить голос подсудимых, напрасно оно допускало на суд лишь немногих из желавших туда попасть, а речей подсудимых не печатало даже в своих казенных отчетах о процессе. Революционеры устроили

маленькую тайную типографию, воспроизводили там весь ход процесса и все речи без пропусков и распространяли правдивые отчеты о суде в тысячах листков. Много раз в позднейшие годы эти речи перепечатывались вновь в различных городах России, размножались провинциальными революционерами при помощи гектографа и других приспособлений, и проникали все глубже в народное сознание

Сам Алексеев и его товарищи понесли тяжелую кару. Закованные в цепи, они проводили годы в мертвой тишине одиночных камер харьковской центральной тюрьмы, где их держали под семью замками, за семью печатями. Они медленно умирали в строгом заключении, а слова их продолжали жить и зрели в благоприятной почве...

С самого возникновения крепостного права и до его отмены крестьянство с ним не примирялось. Бунты следовали за бунтами; иногда они принимали размеры настоящего восстания; была на Руси разиновщина, была пугачовщина, было множество случаев убийства жестоких помещиков или управляющих; в последние десятилетия крепостной поры таких случаев становилось все больше и больше. Но никогда раньше изнемогавшее под непосильным бременем русское крестьянство не об'единялось с недовольной своим политическим бесправием революционной частью русской интеллигенции и не шло с нею под одним знаменем к общей цели, кратко выражаемой словами „земля и воля“ Ясно, что это не могло продолжаться вечно. Рано или поздно оба потока, стремившихся с разных склонов в одном направлении, должны были об'единиться.

Речь Петра Алексеева явилась первым признаком возможности такого об'единения. Безмерное по своим скрытым силам крестьянское море разливалось по всему пространству величайшей в мире страны, лишенное всякой связи, по своей безграмотности как бы глухонемое, по своей отчужденности от всех других народов Европы, как бы забытое историей, не имея такого центра, около которого можно было бы сорганизоваться для осмысленной борьбы. Вынуждаемая малоземельем покидать свои деревни и, нанимаясь на фабрики, превращаться, таким образом, в пролетариев, крестьянская молодежь шестидесятых и начала семидесятых годов не порывала своих деревенских связей. Она сохраняла свои деревенские навыки и понятия и усваивала мало полезного для себя из недоступных для нее благ городской жизни. Фабричное население той поры составляло в городах как бы крестьянские колонии, сохраняя больше сходства со своими деревенскими родичами, чем с соседями по новому местожительству,—заводскими рабочими. Заводские, по сравнению с фабричными, чище одевались, были пообразованней, и на фабричных

смотрели свысока. Вновь прибывшему в город деревенскому парню трудно было и в новом положении набраться от кого-нибудь ума-разума. Он оставался в душе крестьянином, но к его прежней деревенской обиде, виновниками которой были помещики, кулаки и всякие мелкие чины и власти, присоединялась новая обида. тот гнет и те постоянные унижения, какие он должен был выносить уже на фабрике от своего нового „начальства", начиная с десятника или старшего мастера и кончая директором или самим хозяином. Времена крепостничества были тогда еще слишком близки, чтобы память о них и прежние рабовладельческие привычки могли исчезнуть из хозяйских нравов С рабочими обращались презрительно, как с низшими существами. Держали их впроголодь, в отвратительных конурах, под назойливым и оскорбительным надзором, почти как арестантов. Платили им гроши Работой изнуряли часов по 14 и даже по 17. Власти смотрели на все виды эксплоатации и произвола хозяев сквозь пальцы. Просвета, возможности исхода из такого положения не виделось нигде и ни в чем. Недовольство в фабричной среде было всеобщим, но совершенно бездеятельным, и если в чем нибудь проявлялось, то разве в случайных вспышках бессильного протеста или неосмысленного буйства. У многих в новой обстановке зарождалось смутное стремление подучиться, подняться умственно, стать человеком, понимающим все не хуже других. Но учиться было негде, так как начинавшие было возникать в шестидесятых годах воскресные школы для взрослых правительство поспешило закрыть из опасения революционной пропаганды, а все позднейшие попытки этого рода оно давило в самом зародыше *).

Петр Алексеев был одним из таких именно молодых рабочих, о каких здесь говорится. Детство его прошло в деревне в обыкновенной крестьянской обстановке. Еще мальчиком он должен был приняться за фабричный труд и только лет 16—17 он между делом успел научиться грамоте. Одной грамотой его любознательность не удовлетворялась. Он искал сближения с более образованными людьми, которые могли бы помочь ему в приобретении

*) Еще в 1848 году один из первых русских социалистов — Буташевич-Петрашевский (сосланный впоследствии на каторгу) пытался собирать на своей квартире в Петрограде мещан и мастеровых и раз'яснять им положение вещей, но это была попытка не совсем удачная и прошедшая совершенно бесследно. В начале шестидесятых годов московская революционная молодежь (Худяков, Ишутин, Каракозов и другие) вновь старалась завязать сношения с рабочими, но деятельность этих лиц, как и немногих других пропагандистов того периода, обрывалась в самом начале благодаря арестам всех участников движения.

знаний, но долго не встречал таких людей и вел существование обыкновенного тогдашнего фабричного, работал то в Москве, то в Петербурге, и ничем особенным не выделялся из среды своих безграмотных и малограмотных товарищей. Много даровитых людей этой среды так и не успевало развить своих способностей и постепенно утрачивало умственные интересы по невозможности находить для них хоть какое-нибудь удовлетворение Но Алексееву посчастливилось в конце-концов натолкнуться на ту интеллигентную молодежь, которая и сама, вопреки всем препятствиям со стороны правительства, искала сближения с рабочими в надежде через их посредство открыть доступ своим идеям и в деревенские массы. Эта встреча определила для Алексеева все его будущее.

II.

Когда, после поражения в крымской войне, правительство окончательно убедилось в необходимости немедленного освобождение крестьян, в русском обществе возникло общее брожение. Все понимали, что вслед за отменой крепостного права, которое было настоящим фундаментом всего государственного и общественного строя России, непременно должно последовать общее преобразование всех сторон жизни: необходимо будет изменить и способ управления губерниями и уездами, и судебные законы, и законы об имущественных отношениях, так как в общество войдут десятки миллионов новых граждан, ранее бывших только рабами и никаких прав не имевших.

Более всего, конечно, надо будет позаботиться о просвещении этих новых граждан и о том, чтобы приучить их к самоуправлению в только-что избавленных от помещичьего произвола сельских и волостных обществах и в новообразуемых уездных и губернских земских учреждениях. Самоуправление народных низов, по общему убеждению, должно будет завершиться наверху всероссийским народным представительством — парламентом. При этом предполагалось само собою ясным, что печать должна будет освободиться от прежних удушающих стеснений, что у нас, как и всюду в Европе, можно будет публично обсуждать общественные дела, основывать всякие союзы, артели и т. п.

Это либеральное направление в первые годы освободительной эпохи получило в русском обществе очень широкое распространение. Но в пылкой университетской молодежи и в многочисленном кругу так называемых „разночинцев“, то-есть небогатых и незнатных, но все-таки более или менее образованных людей, правительству не верили,

на его медлительность, колебания и неискренность негодовали, и там наибольшее влияние получили тогда Чернышевский и Бакунин, проповедовавшие не либерализм, а более крайние учения: социализм и анархизм.

Крушение старой России естественно наталкивало людей на поиски совершенно новых оснований для перестройки заново всего народного быта так, чтобы зараз смести с лица земли все то зло, какое накопилось за все прежние века. „Ломать старое, так уж ломать начисто, а строиться заново, так уж строиться всем на диво!",—думали тогдашние люди и воспринимали учения анархизма и социализма с восторгом, вполне уверенные в том, что наш русский народ скорее всякого другого сумеет осуществить в своей свободной жизни наилучшие порядки, какие только мыслимы, так что на порядках только сносных, вроде европейских, не стоит и останавливаться. Эта вера тогдашних революционеров придавала им несокрушимую силу и делала их способными на полное самопожертвование, лишь бы народ наш действительно освободился и открыл для человечества новый, прекрасный и радостный мир. Главную задачу своей жизни тогдашние революционеры видели в просвещении народа и в подготовке его к общему восстанию путем одной только пропаганды и словесного убеждения. Кружки таких идеалистов, почти сплошь людей по возрасту очень молодых, возникали тогда преимущественно в столицах и университетских городах, и жизнь в таких кружках слагалась удивительно дружная и теплая. Вновь примыкавшие к ним юноши и девушки легко проникались очарованием взаимного доверия и братства, и будущая Россия представлялась им союзом общин, очень сходных по своему строю с ихними товарищескими „коммунами". Члены отдельных кружков входили во взаимные сношения, сближались, и со временем из их среды выделилось десятка с три особенно ревностных провозвестников социализма, в продолжение целых двадцати лет неутомимо восстановлявших революционные организации после всех разгромов. В начале эти сблизившиеся друг с другом, наиболее деятельные революционеры получили кличку „чайковцев" по имени одного из основателей ихнего об'единительного кружка—Николая Васильевича Чайковского, молодого человека, только что окончившего университет. Одним из чайковцев был студент Технологического института Сергей Силыч Синегуб, решившийся посвятить себя всецело пропаганде среди петербургских рабочих. С целью сближения с рабочим классом, с которым пропагандисты в начале не имели никакой связи, Синегуб, как и некоторые из его товарищей, занялся обучением желающих грамоте. Поселившись в самой простой квар-

тире за Невской заставой, в гуще рабочего квартала, он принимал учеников у себя на дому, обучал их разным предметам, а помимо того сближался со своими учениками по приятельски, читал им подходящие книги и раз'яснял им положение вещей в России и на всем белом свете без всякой скрытности. Полиция того времени была настолько беспечна, что довольно долго такие занятия продолжались беспрепятственно, и Синегуб успел приобрести нескольких друзей и последователей в кругу рабочих. О нем, как об учителе, молва прошла по многим фабрикам, заводам и мастерским, и народ к нему шел даже не из близких мест.

Однажды осенью 1873 года заявилось к Синегубу двое новых учеников, просивших его подучить их сколько-нибудь геометрии и географии. Одним из этих любознательных рабочих был ткач Петр Алексеев, работавший тогда на фабрике Торнтона. Так началось сближение Алексеева с людьми революционного мира, о самом существовании которого, переступая через порог квартиры Синегуба, он едва ли догадывался.

Вскоре же после своего знакомства с Алексеевым Синегуб был арестован, но, повидимому, он успел дать энергичному вдумчивому молодому ткачу достаточно сильный толчок к развитию, и после ареста своего первого учителя Алексеев не прекратил связи с теми рабочими, которые прониклись духом социализма и являлись в своей среде неустанными пропагандистами. Однако, его связи с интеллигентными революционерами на время оборвались. С осени 1873 года и во все продолжение 1874 года правительство, не на шутку напуганное стремлением учащейся молодежи к сближению с рабочими, производило по всей России усиленные аресты и нахватало более двух тысяч человек, заподозренных в „хождении в народ", как тогда говорилось, и в попытках пропаганды. Кружок чайковцев был разгромлен и почти все его члены оказались в тюрьмах. Но разгромить все движение власти были не в силах. В России возникало множество новых кружков, а некоторые социалисты, уцелевшие при общем погроме, продолжали в одиночку или маленькими группами такую же деятельность, какую раньше в более широком размахе вели чайковцы.

Одним из таких пропагандистов, продолжавших свое дело и в 1874 году, был студент-медик Александр Семенович Ивановский, живший в Петербурге на Монетной улице, где он собирал у себя рабочих, обучал их и влиял на их политическое развитие в таком же роде, как раньше Синегуб. Его посетителями было между прочим и несколько человек из тех рабочих, которые уже имели сношения с пропагандистами 1873 года. Одним из таких был и рабочий

Окладский,—впоследствии участник некоторых террористических покушений. С этим-то Окладским к Ивановскому заявился однажды и Петр Алексеев и у них с Ивановским установились потом очень дружные и прочные отношения. Алексеев в это время не только брал книги и занимался самообразованием, но и распространял революционные идеи в рабочей среде, а своих учеников знакомил с Ивановским. Таким образом, через год после своей первой встречи с социалистами Алексеев уже действовал в Петербурге как пропагандист, а близость с Ивановским много помогла ему в укреплении его взглядов и в его общем развитии В конце 1874 года Алексеев уже был известен в кругу пропагандистов как убежденный и энергичный революционер, на которого можно вполне положиться. Затеряться в массе заурядных людей он уже не мог, и он не затерялся...

III

Возникавшее в Петербурге еще в самом начале семидесятых годов об'единение революционных групп не выдержало массовых арестов и погибло. Но такая же попытка, уже после провала большинства чайковцев, в последние месяцы 1874 года повторилась в Москве, где образовалась целая организация, успевшая связать для пропаганды в народе более сотни лиц, главным образом студентов и студенток, но частью и рабочих. В их кругу оказался и Петр Алексеев.

Организация, одним из деятелей которой выступил Алексеев, зародилась первоначально за границей и возникла из слияния двух кружков кружка студентов-кавказцев (грузин) и кружка молоденьких девушек—русских, из которых некоторые были родом из помещичьих семей и располагали порядочными денежными средствами. Эти средства юные социалистки отдали на дело пропаганды и таким образом вновь возникшее общество сразу могло приняться за работу одновременно в нескольких местах, на что, разумеется, требовались деньги. Надо было оплачивать постоянные деловые раз'езды членов общества, нанимать квартиры для собраний и для хранения книг и паспортов, устраивать мастерские, подготовлять побеги арестованных и т. п. У основателей общества имелось в самом же начале тысяч десять, а по тому времени это составляло немаленькую сумму. Личной собственности по уставу общества никто из его членов иметь не мог. Все, что кому принадлежало, всякий товарищ должен был отдавать в общину, а жить всякий должен был как простой рабочий. И муж-

чинам и женщинам,—всем полагалось поступать на фабрики или наниматься в мастерские. Так как большинство тогдашних социалистов принадлежало по рождению к интеллигентным семьям, то, конечно, для поступления на фабрики и для об'яснения соседям своего простого образа жизни им приходилось менять фамилии и запасаться фальшивыми паспортами на имя крестьян или цеховых. Так они и делали, и это называлось тогда „перейти в нелегальное положение". Раньше человек, обративший на себя внимание властей как революционер, чтобы не угодить в Сибирь, скрывался за границу, чаще всего в Швейцарию, и там жил эмигрантом в полной безопасности. С усилением революционного движения, и особенно после многочисленных арестов 1873—74 годов, нашлось немало и таких людей, которым не в охоту было уходить за границу и отрываться от живого дела в России. Они предпочитали переходить на нелегальное положение и оставаться дома, продолжая пропаганду в народе. Для снабжения нелегальных паспортами, для провоза из за границы революционных изданий и для взаимной связи пропагандистам необходимо было иметь какой-нибудь центр, что-то вроде управления, но так как они всякую власть отрицали, то у них было решено замещать все должности в своей „администрации", как они называли свой центр, по очереди, и непременно вводить в администрацию не только интеллигентных членов общества, но и рабочих. Все члены, кроме состоявших на время в администрации, по уставу должны были становиться рабочими и заниматься пропагандой. Настоящим делом считалась в их среде только пропаганда, а все остальное, например,—добывание денег, изготовление паспартов и тому подобное, рассматривалось лишь как работа подсобная.

Одним из наиболее деятельных членов этой организации был грузин Иван Спиридонович Джабадари, студент-медик. Столковавшись за границей со своими земляками и единомышленниками Чикоидзе, Цициановым и еще с несколькими, а также и с русскими студентками, обучавшимися в Париже и в Цюрихе, Джабадари поехал в Петербург, чтобы искать подходящих для ихней организации людей в петербургской революционной молодежи. В Петербурге он особенно сблизился с Михаилом Грачевским, бывшим народным учителем Саратовской губернии, который уже с начала семидесятых годов занимался пропагандой среди рабочих и сам легко мог сойти с вида за рабочего. Грачевский (впоследствии известный террорист-народоволец, погибший в 1887 году в Шлиссельбургской крепости), продолжал и в 1874 году поддерживать сношения с некоторыми из рабочих, бывавших ранее у Синегуба, Рогачева,

Чарушина и других пропагандистов 1873 года. Несколько человек таких рабочих собиралось по вечерам на Лиговке, близ церкви Воздвижения, и к ним ходили интеллигенты, преподававшие им разные школьные предметы, а вместе с тем занимавшиеся и политической пропагандой. В октябре 1874 года постоянным посетителем этой „воздвиженской артели", как называли ее пропагандисты, был и Петр Алексеев В октябре же стал одним из преподавателей артели и Джабадари Из числа ее учителей и слушателей он облюбовал двоих пропагандистов· Грачевскаго и Жукова, и двоих рабочих· Алексеева и очень интеллигентного и развитого кузнеца Василия Грязнова, и предложил им вступить в образующееся для широкой пропаганды новое тайное общество, наметившее полем своей деятельности Москву и подмосковный край, так как тут сосредоточивалась большая часть русских фабрик, а подготовленные пропагандой фабричные рабочие могли бы разойтись по деревням и поднять весь народ.

Все четверо петербуржцев охотно приняли предложение Джабадари, и уже в ноябре Петр Алексеев, его брат Никифор, Грачевский и Грязнов выехали в Москву. Там братья Алексеевы поступили на фабрику Тимашева, Грязнов завязал сношения с рабочими железно-дорожных мастерских, а Грачевский поселился вместе с Грязновым и к ним на квартиру стали приходить по вечерам знакомые рабочие. Немного времени спустя у пропагандистов уже нашлись единомышленники из числа московских рабочих, примкнувших к только-что образовавшейся организации и ставших сторонниками социализма: столяр Иван Союзов, ткачи· Филат Егоров, Иван Баринов, Николай Васильев и другие. Поступили на фабрики простыми работницами и некоторыя из прибывших из-за границы студенток: Софья Бардина, Бетя Каминская, Лидия Фигнер и Вера Любатович. Все они вступали с рабочими в политические разговоры, старались пробудить в слушателях общественные интересы, читали им вслух и раздавали на руки нелегальные книжки, составленныя еще чайковцами: Крапоткиным, Кравчинским, Волховским и другими. Так же действовал и Петр Алексеев, являвшийся одним из самых ревностных и преданных делу членов общества.

Уже в конце января 1875 года пропагандисты испытали первый удар: по оговору одного случайного знакомца были арестованы Грачевский и Союзов. Это, разумеется, не охладило рвения остальных, и месяца через два после начала их деятельности у них уже имелись связи на двух десятках московских фабрик и во многих мелких мастерских. Группы рабочих, с которыми велись занятия, собирались человек по пять в небольших квартирах, расположен-

ных в окраинных частях города—на Яузе, в Сыромятниках, и близ Николаевскаго вокзала.

В конце марта месяца в организации было решено оставить в Москве лишь немногих из членов, так как сношения с московскими рабочими теперь можно будет расширять при помощи самих здешних рабочих, примкнувших к образовавшимся в городе кружкам; пропагандистам же было признано более целесообразным раз'ехаться по крупным провинциальным центрам скопления рабочих, чтобы основать и там отделы своего общества. Алексеев с несколькими другими товарищами должен был выехать в Иваново-Вознесенск. До от'езда оставался день-другой, но выехать не пришлось. 4-го апреля последовал арест сразу девятерых человек, собравшихся на общественной квартире на Красносельской улице, в доме Корсак. В числе их был и Петр Алексеев. Арест был вызван оговором одной женщины, сожительницы ткача Николая Васильева, очень боявшейся за его участь после того, как он в последних числах марта был арестован.

Если бы в позднейшие месяцы не последовало в разных городах новых арестов раз'ехавшихся по России членов московской организации, да если бы у некоторых из арестованных не нашлось списка устава общества и деловой переписки, то можно думать, что арестованных 4-го апреля сослали бы куда-нибудь в Архангельскую губернию без лишения прав („административно"), и не стали бы судить. Но в продолжение 1875 года в различных местностях России было схвачено несколько десятков мужчин и женщин, которых жандармам нетрудно было признать членами того же революционного союза, к которому принадлежали и лица, задержанные в апреле в Москве, в доме Корсак. Дело получало серьезный характер. Правительство решило создать процесс и судить членов обнаруженного тайного общества публично, в надежде запугать общество призраком подготовляемой „нигилистами" революции.

По важности обвинения рассматривать дело должно было Особое Присутствие Сената в Петербурге, и всех подсудимых стали свозить туда, в дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Тюремные порядки в этом доме были не настолько строги, чтобы арестанты из своих одиночных камер не могли сноситься друг с другом тайными записочками, перестукиванием, а подчас и перекрикиванием. Политических арестантов сидело тогда в доме предварительного заключения человек двести, так как, помимо процесса „москвичей", вскоре предстоял и „большой процесс", к которому было привлечено 193 подсудимых. Общее настроение заключенных было повышенное и бодрое. Тут каждый из сидящих чувствовал, что он не

одинок, что революционеров в России уже много, что они выходят из всех слоев общества и из всех концов великой страны. Всех интересовал предстоящий суд, все делились друг с другом рассказами о своей деятельности и обстоятельствах ареста, своими взглядами на ход событий и на лучшие способы революционной деятельности

Алексееву почти два года пребывания в тюрьме в одном отношении принесли большую пользу. На воле почти весь день он проводил в работе, а немногие свободные часы отдавал пропаганде,—для заботы о собственном развитии у него оставалось черезчур мало досуга. В тюрьме в первый раз в жизни он получил досуг, и там он заполнял свое время чтением. Кроме того, в доме предварительного заключения на каждого из сидящих огромное влияние оказывало товарищеское общение, хотя-бы и такое неполное, каким могли пользоваться политические арестанты. В „предварилке" Алексеев значительно расширил круг своих знаний и вообще умственно вырос. По начитанности и литературности языка он все-таки уступал таким выдающимся по своей интеллигентности рабочим, какими были, например, Обнорский или Союзов, но в нем бросалась в глаза большая сила характера, сдержанная страстность, мощный голос и способность к такому духовному под'ему, который в моменты возбуждения пронизывает речь человека и придает его словам особую, подчиняющую и заражающую силу. Эти черты его личности выделяли Алексеева среди других привлеченных к тому же процессу рабочих, и товарищи именно его наметили одним из ораторов, которые, по общему уговору всех подсудимых, должны были на суде высказаться за все их общество, оправдывая в своих речах не себя самих, а свое дело, как дело чистое и спасительное для народа, а вовсе не преступное. Другим ораторам, интеллигентам,—Бардиной и Здановичу, поручалось говорить о социализме и о необходимости коренных преобразований общественного строя, а Петру Алексееву, как природному крестьянину и рабочему, естественно было выступить с речью о положении в России крестьян и рабочих, которым теперь не остается никаких других надежд на выход из своего невыносимого положения, кроме одной только надежды—на революцию. Каждый из намеченных общим согласием ораторов, сидя в одиночестве у себя в камере, обдумал то, что он скажет, и набросал проект своей речи на бумажке, а затем, еще до суда, сообщил этот проект для замечаний товарищам. Алексеев передал набросок своей предполагаемой речи на просмотр Джабадари и тот ничего в проекте по существу не изменил, а только посоветовал сократить немного речь и исправил кое-какие грамматические ошибки.

Уже во время процесса, продолжавшегося три недели, сидя на скамье подсудимых рядом с некоторыми товарищами, Алексеев показал окончательный текст речи Джабадари, Чикоидзе, Цицианову и Бардиной; все они одобрили речь, но посоветовали Алексееву, чтобы тот по непривычке к публичным выступлениям на суде не смутился, заучить свою речь наизусть и пробовать у себя в камере произносить ее вслух, представляя себе, что он говорит перед сенаторами. Алексеев последовал этому совету, а товарищи устроили ему экзамен, и дня за два до того, как ему предстояло действительно произносить свое последнее слово, во время обеденного перерыва судебного заседания сидя все в одной комнате суда, предложили ему произнести эту речь перед ними. В своих воспоминаниях, написанных гораздо позже и напечатанных в журнале „Былое" в 1907 году, Джабадари так передает об этом испытании

„ . . . Мы заставили Петра Алеексеева, вытянувшись во весь рост, держать речь, как бы обращаясь к председательскому креслу; он произнес ее без запинки и крайне выразительно; когда посреди речи Чикоидзе перебил его обычным председательским окриком: „подсудимый, остановитесь!" Петр Алексеев, вместо того, чтобы остановиться, повысил голос, оттолкнул Чикоидзе, и докончил речь. Мы беззвучно апплодировали к великому удивлению окружавших нас жандармов. А Петр, обратившись к Чикоидзе, сказал: „ишь ты какой, хотел меня сбить, нет, брат, теперь не собьешь". — „Молодец, Петруха, молодец", говорил ему Чикоидзе, с силой ударяя его по плечу".

После удачи произведенного опыта товарищи уже не сомневались в том, что их „Петруха" лицом в грязь не ударит и не смутится золотом сенаторских мундиров, внушительным видом присутствующих на суде важных особ и блеском обнаженных сабель окружающего подсудимых жандармского конвоя. Но все-таки действительное впечатление, какое произвела речь Алексеева и на суд, и на публику, когда она была произнесена не для примера только, а так-сказать на поле битвы, прямо в лицо могущественным врагам, если не под петлей, то под угрозой многолетней каторги,—это впечатление далеко превзошло все ожидания товарищей, и выступление Алексеева составило одно из самых ярких событий революционной борьбы периода мирной пропаганды.

IV.

Суд начался 21 февраля 1877 года. Всех подсудимых было 50 человек, почему этот процесс вошел в историю русского революционного движения, как „процесс 50 ти". Заседание Особого Присутствия Сената происходило в

здании Петербургского Окружного Суда на Литейной улице, соединявшемся с домом предварительного заключения подвальным коридором. Подсудимых выстроили по двое, расставив между каждой парой по жандарму с обнаженной саблей, и под предводительством жандармского офицера повели этим длинным коридором в суд. Просидев перед этим года по полтора и по два в одиночках, подсудимые встретились теперь в этой необычной обстановке с бодрым и радостным чувством. Ведь они были уверены в том, что их дело—дело святое и великое, которое не теперь, так позже, но непременно победит. Им самим, конечно, предстоит Сибирь или каторга; но семя их идей не заглохнет, а может быть и память о их почине в борьбе за свободу не умрет в потомстве. Под общим влиянием даже те немногие, которые на допросах более или менее растерялись и вели себя недостаточно мужественно, тут подбодрились и готовы были взять назад свои прежние показания и держать себя на миру не хуже других.

О самом суде Джабадари в своих воспоминаниях рассказывает так:

„По левую сторону от судей на обычном месте возвышалось место для 3–4 обвиняемых, названное нами голгофой, где посадили Кардашева, Здановича, крестьянина Острова и Сидорацкого. По правую сторону, на скамьях, расположенных уступами одна над другой, разместили остальных подсудимых. Внизу, под хорами, был расставлен ряд стульев для привилегированной публики; она была уже в сборе и с холодным любопытством наблюдала нас. Позади судей занимали места высокопоставленные лица; там были: канцлер князь Горчаков, министр юстиции граф Пален, принц Ольденбургский, князь Мингрельский и другие; на хорах помещалась другая публика, среди которой изредка мелькали знакомые лица родственников некоторых подсудимых. Когда подсудимые разместились, жандармы с обнаженными шашками стали по сторонам... Впереди нас разместились защитники.

„Пока длился обычный опрос обвиняемых о летах, звании и прочее, большинство членов организации разместились ближе друг к другу, чтобы выработать программу, как держать себя на суде в случае вопроса о принадлежности к организации. По окончании допроса началось чтение обвинительнаго акта, длившееся несколько часов, после чего председательствующий Петерс об'явил, что Особое Присутствие постановило разделить подсудимых на восемь групп, и что судебное следствие будет происходить по каждой группе отдельно, что на завтрашний день будет вызвана одна первая группа, остальные будут вызываться на суд последовательно. Это заявление грозило нам раз-

лукой; мы не хотели уступить без борьбы свое право быть вместе. Было очевидно, что суд именно и не желает видеть нас вместе, а потому собственно и решил разбить на группы".

Подсудимые решительно запротестовали против намерений суда их раз'единить. Они заявили, что в таком случае и судить их следовало бы не как членов одного тайного общества, а как участников в деятельности восьми разных кружков, а раз их заодно обвиняют, то заодно должны и судить. Подсудимым удалось настоять на своем.

Благодаря тому, что все они во все время процесса оставались вместе, и впечатление от процесса получилось более цельное, сами подсудимые чувствовали себя сплоченней, и все их поведение проникалось общим духом, отражавшим их глубокую веру в свою правоту. Даже свидетели со стороны обвинения из случайно встречавшихся с пропагандистами рабочих, за исключением двоих-троих, на суде обнаруживали к обвиняемым сочувствие, смягчая свои прежние показания или даже отрицая невыгодные для обвиняемых факты. Сам прокурор, настаивая в своей судебной речи на том, что революционная пропаганда не имела в народе успеха, все-таки должен был признать, что и вполне безуспешной она не оставалась. В правительственном отчете о процессе это место прокурорской речи передано таким образом:

„Здесь товарищ обер-прокурора счел нужным заметить, что, несмотря на значительное количество фабрик, на которых распространялись книги преступного содержания, в числе подсудимых находится вообще весьма мало крестьян на скамье подсудимых. По показанию свидетелей, большинство рабочих относилось несочувственно к идеям пропагандистов и книгам, распространяемым ими. Наглядным доказательством тому служит то обстоятельство, что почти все дела начаты по указаниям и доносам самих крестьян, получавших от обвиняемых преступные книги. Тем не менее нельзя не заметить, что в числе рабочих на фабриках были и такие, которые относились хотя не вполне сочувственно к пропаганде и содержанию распространяемых между ними книг, но все-таки неохотно давали показания по делу, другие же укрывали лиц, распространявших книги. На подобного рода явление следует обратить внимание и остановиться на нем в интересах общественных".

К обвинению Петра Алексеева данных у суда имелось так мало, что в очень длинной и продолжительной речи прокурора этому подсудимому уделено всего несколько слов. Вот эти слова в передаче правительственного отчета:

„Из крестьян, преданных суду в качестве обвиняемых по настоящему делу, Алексеев принадлежит к рабочим

Петербурга, где и проживал до Рождества 1874 года; в это время он появляется в Москве и может быть назван первым распространителем книг преступного содержания среди рабочих. Такие книги при посредстве Алексеева были доставлены на фабрики Шибаева и Горячева, и Алексеев принимал деятельные меры к тому, чтобы познакомить лиц, поселившихся в доме Костомарова (т. е. пропагандистов), с рабочими на московских фабриках Между прочим, Алексеев с своей стороны содействовал знакомству рабочих с Федором, Василием и Михайлом (т е. пропагандистами Чекоидзе, Георгиевским и Джабадари); он же содействовал тому, чтобы книги преступного содержения распространялись между рабочими теми лицами, с которыми свелось знакомство".

Почти такого же рода обвинение пред'являлось и рабочим Ивану Баринову и Филату Егорову, которых суд приговорил к ссылке на поселение в Сибирь. Такая же кара ожидала бы и Алексеева, если бы он не взял на себя задачи выступить перед лицом всей России не с собственным оправданием, а с защитой революционеров, как единственных верных друзей обездоленного трудового люда. Когда после завершения многодневного судебного следствия, после речи прокурора и речей всех адвокатов, было предоставлено слово тем из подсудимых, которые отказались от пользования адвокатским красноречием, и 10 марта 1887 года очередь дошла до Алексеева, этот ткач, к неописуемому изумлению своих знатных слушателей, сказал следующее.

Речь Алексеева.

Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого образования, за неимением школ и времени от долгого непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Девяти лет, — мальчишками, нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и палками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами, воздуха; спим, где попало, на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернувшись в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов. В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и у них не развиваются нравствен-

ные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна, грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб, рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть с затаенной ненавистью в сердце весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума, из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих последнюю трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов, и те сверх скудного заработка эксплоатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается хозяину на сдельную работу, беспрекословно и с точностью исполняет все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им по праву или не по праву пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-ти часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели жизни московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других...

Председатель-сенатор Петерс. — Это все равно. Вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-ти часовой дневной труд,— и едва можно заработать 40 копеек. Это ужасно! При такой дороговизне с'естных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим жизненным потребностям человека. Пусть, пока они умирают голодной медленной смертью, а мы скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока не освободим из-под ярма нашу усталую руку, и свободно можем тогда протянуть ее для помоши другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно, и отчасти как-то при-

скорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-ти часовым трудом кусок черного хлеба.

Я несколько знаком с рабочим вопросом наших братьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг, напротив, там этим гордятся, а об нас отзываются, как о народе рабском и полудиком.

Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как „Бова Королевич", „Еруслан Лазаревич", „Ванька Каин", „Жених в чернилах и невеста во щах" и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно—забавное, а другое—божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас, в России, рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг, а в особенности если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении: тогда уж держись! Ему прямо говорят „ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги". И страннее всего то, что и иронии не заметно в сказанных словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное.

Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Как-будто уж и в самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян и не видим, как сумели его поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса?

Те люди, которые такого мнения о работниках, будто они нечувствительны и ничего не понимают, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном

положении и до настоящего времени не получает никакого образования, но он смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силою и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать подобных тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины, обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа,—день, в который он с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство,—19 февраля. И что-же? И это было для нас одной мечтой и сном. Эта крестьянская реформа 19-го февраля 1861 года, реформа „дарованная", хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда не годной земли, и перешли в зависимость к капиталисту.

Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором и неявившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, значит,—о н и в с е к р е п о с т н ы е.

Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, значит,—м ы к р е п о с т н ы е.

Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов,—нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, значит,—м ы к р е п о с т н ы е.

Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, значит,—м ы к р е п о с т н ы е!

Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самому на себя и не от кого ожидать помощи, кроме одной нашей интеллигентной молодежи..

Председатель (вскакивает и кричит). Молчите! Замолчите!

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает). Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и от чего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель (волнуется и, вскочив, кричит). Молчать! Молчать!

Петр Алексеев (возвышая голос)..и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

. . . . . .

„Во время произнесения этой речи перед судом,— вспоминает Джабадари,—мы сидели на том же месте, на последней скамье, и в том же порядке; между мною и Чикоидзе сидел Петр; Чикоидзе держал написанную речь перед собою на случай, если бы Петруха сбился, он должен был подсказать ему. Действительно, в середине речи, при глубоком молчании всех, когда и суд, и публика, и в особенности подсудимые слушали его с затаенным дыханием, вдруг Петр на мгновение запнулся и остановился; я положительно обмер от этой паузы, которая мне показалась вечностью, но Петруха, сказав почему-то „виноват“, пошел дальше и блестяще закончил речь при громких аплодисментах публики и при неистовом крике председателя Петерса: „Подсудимый, остановитесь, я прикажу вас вывести“. Но Петр, повысив голос и перекрикивая весь этот шум, закончил речь, как-бы бросая последние слова. „и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!“. Это была огромная победа, обратившая в бегство весь суд. Тотчас об'явлен был перерыв заседания.

„Петруха, этот высокий, здоровенный мужчина, охвачен был таким волнением, что по окончании речи трясся как в лихорадке, руки и ноги дрожали до такой степени,

что он не мог стоять на ногах, и, когда к нему протянулись руки защитников и товарищей с поздравлением, он еле мог протягивать свою дрожащую руку.

„—Это народный трибун!,—взволнованно воскликнул Спасович (знаменитый адвокат, один из защитников на процессе 50-ти), обращаясь к нам.

„Триумф Петра был полный, но это был его первый и последний триумф!.

„Сочувствие публики к Петру Алексееву после произнесенной им речи было так сильно, что на другой день вся камера Петрухи была завалена табаком, сигарами, фруктами, жареной дичью, поросятами, индейками, конфектами и печеньями, а также платьем и бельем. Петруха, вскормленный на черном хлебе, иногда, быть может, пополам с лебедой, дивился, какими сластями питаются баре, купцы и попы, и, шутя, говорил, что если бы всегда его кормили так на убой, он, пожалуй, и, не произнес бы своей речи".

Правительство, конечно, подробно изложив в своем отчете о процессе 50-ти речь прокурора, о речах подсудимых ограничилось лишь таким упоминанием: „После сего (т.-е. после речей адвокатов), первоприсутствующий предоставил слово тем подсудимым, которые отказались иметь защитников. Некоторые из них заявили, что они ничего не имеют сказать, а другие представили об'яснения, которые заключали в себе не столько опровержение выставленных против них улик, сколько общие соображения и свои взгляды на значение настоящего дела и на те цели, которые они преследовали. При этом один из подсудимых, а именно крестьянин Алексеев, позволил себе в конце своей речи дерзкие выражения, за что и был остановлен первоприсутствующим".

Столь полное умолчание не предотвратило широкой огласки речи. Во всех революционных кружках России ею зачитывались, так как письменный текст речи был тотчас же передан из предварилки на волю и немедленно напечатан отдельным листком, а немного позже перепечатан в заграничном революционном журнале „Вперед", а также отдельным оттиском с небольшим предисловием переиздан в России в 1878 году. После этого речь Алексеева воспроизводилась и социал-демократами, с предисловием Плеханова, и социалистами-революционерами, со статьею чайковца Волховского, а в 1922 она была вновь воспроизведена в посвященной памяти Алексеева статье его товарища по якутской ссылке Э. К. Пекарского, в номере 19 журнала „Былое". С уверенностью можно предсказать, что и в будущем, в разных трудах по истории русского революционного движения она будет упоминаться не раз.

Своим смелым и ярким выступлением против власти, казавшейся тогда всемогущей, Алексеев обеспечил себе прочную и благодарную память в потомстве, но зато при своей жизни ему пришлось заплатить за такую честь очень дорогой ценой

V

Из числа всех 50-ти подсудимых Особое Присутствие Сената вынесло наиболее суровый приговор двоим: князю Цицианову, пытавшемуся при аресте оказать вооруженное сопротивление, и Петру Алексееву. Оба они были приговорены к 10 годам каторги. Большая часть осужденных обжаловала приговор, за некоторых хлопотали их родственники и авдокаты и таким первоначально назначенные кары были более или менее смягчены и сроки каторги сбавлены. Цицианов, Алексеев, Кардашев, Зданович и Джабадари ни жалоб, ни прошений подавать не захотели, и им не только не сделали никаких сбавок, но и отягчили их положение. Эти пятеро строптивцев были отправлены отбывать назначенные им сроки не в обыкновенных каторжных тюрьмах, а в центральной тюрьме, основанной близ Харькова для полного обособления от мира наиболее тяжких преступников, которых там должны были содержать в строжайшем одиночестве и в самых суровых условиях.

В конце 1877 г. в Новобелгородской (иначе Печенежской) центральной тюрьме было заключено 29 политических каторжников, которых держали в полном разобщении друг от друга и от других, даже от уголовных сидельцев, по арестантски обритых и закованных в цепи, всегда под замком, в мрачных и холодных камерах. Каждая такая камера представляла собой продолговатую комнату аршина 4 длиной и аршин 5 высотой. „Небольшое окно,— говорит Джабадари, описывая годы своего заключения,— с массивной железной решеткой было расположено высоко под самым потолком, а для большей защиты от света нижние стекла его были щедро вымазаны густой лиловой краской, вследствие чего в камере господствовал какой-то бледно-синий полумрак, как вуаль застилавший зрение; только отойдя к самой двери, сквозь два верхних незамазанных стекла, можно было видеть узкий клочок далекого неба, но и то в каком-то тумане. Убранство камеры было самое суровое. Узкая деревянная кровать, пригвожденная к правой стене, спускалась только на ночь, а днем к услугам узника оставался лишь небольшой деревянный столик и такая же табуретка, неподвижно утвержденная возле противоположной стены. На столе красовалась со-

лонка и деревянная шайка с водой"... Кровать состояла из деревянной доски с таким же изголовьем, а постель из тонкой холщевой постилки, заменявшей по желанию узника либо тюфяк, либо одеяло, так как ни того ни другого не полагалось. По ночам камера освещалась маленькой жестяной лампочкой, которую надзиратель привешивал близ двери так высоко, что читать при ее свете можно было не иначе, как встав на стоявшее всегда в камере помойное ведро (так называемую „парашу") и держа книгу над головой

Жизнь всех заключенных протекала совершенно одинаково изо дня в день, и Джабадари описывает ее в нескольких строчках за целые годы Он говорит о себе в третьем лице: „рано утром по общей команде он убирал свою камеру, завтракал куском хлеба с холодной водой, и садился за книги, работая без перерыва до 12 часов дня. К этому времени ему подавали целый бачек пустых, но горячих щей с кое-где плавающими листками серой затхлой капусты и несколькими почти микроскопическими кусочками ржавого сала, весом в общей сложности не больше золотника. В первое время, когда, бывало, кусочки этого ржавого сала попадали ему на язык, он с отвращением выплевывал их, но, наголодавшись, выучился их собирать и ел, подавляя брезгливость. К щам подавалось еще несколько ложек каши-размазни, носившей в тюрьме название дубовой; она варилась из плохо ободранного ячменя и изобиловала мякиной и мышиным пометом, который нередко преобладал по количеству над крупой... После обеда, по правилам, полагалась прогулка во дворе, длившаяся полчаса. Илья выходил редко; ему неприятно было ходить по узкой тропинке с надзирателем, который неотвязно торчал возле него, как живая эмблема неволи. И он спешил вернуться скорей в свою камеру, чтобы опять засесть за свои книги или шагать на просторе по своей келье Так текла ровно и монотонно жизнь Ильи на каторге. От диких и нелепых сцен с надзирателями (из-за обращения на „ты") он избавлял себя тем, что совсем перестал говорить с ними, довольствуясь лишь односложным „да" или „нет". Смотритель редко заглядывал к нему... Каждые две недели Илью водили в баню и совершали над ним установленный каторжный туалет (т.-е. брили голову), который попрежнему возмущал его и выводил на время из того состояния забытья, в котором он жил, отмежевав себе какой-то своеобразный мир, где мечты и думы, переплетаясь между собой, создавали ему своеобразную иллюзию жизни... А время шло, незаметно хороня день за днем; нечем было вспомянуть их, не на чем остановиться, и Илья начал мало-по-малу терять сознание времени;

долгие дни незаметно расплывались в долгие годы и, утопая в вечности, как бы теряли свое протяжение“.. Переговоры или перестукивание арестантов друг с другом были невозможны, но тайком обмениваться небольшими записочками им иногда удавалось

Не все осужденные имели силы выдерживать такое суровое заключение без крайнего физического истощения или без глубокого нервного расстройства. Из 29 заключенных уже через год-другой четверо сошло с ума, но их продолжали держать в тех же условиях, как и всех остальных. Их крики и безумное бормотание доносились до соседних камер и мучительно нервировали всех, кто их слышал. У многих явилась решимость лучше умереть, чем таять медленно, и заключенные, условившись записочками, прибегали к последнему средству тюремного протеста,— тогда еще непривычному для начальства,—к общей голодовке. Продолжительная голодовка еще более истощила и без того подорванные силы протестантов, но до некоторой степени она подействовала; когда состояние некоторых из голодавших стало опасным, власти несколько смягчили прежние порядки: наиболее грубые надзиратели были смещены, облегчена была переписка с родными, сделаны были кое-какие мелкие уступки еще кое в каких частностях, но по существу положение не изменилось. Осужденные продолжали томиться в строгом одиночном заключении, и им могло казаться, что они всеми забыты и погибали без всякой пользы для неведавшего о них и не интересовавшегося ими русского народа.

Действительно, широкие народные массы того времени о них не ведали и ими не интересовались, но в революционной среде положение „централистов“ вызвало общее негодование, так как слухи о том, что происходит в стенах мрачной харьковской централки, туда доходили от родственников заключенных, успевавших получать из тюрьмы кое-какия сведения.

Харьковские революционеры считали одним из главных виновников тюремных жесткостей местного губернатора князя Кропоткина. Они организовали покушение на него, и Кропоткин был убит при проезде по улице.

Эта расправа в свое время произвела огромное впечатление и на правительство, и на общество. В России это был еще первый случай убийства губернатора за преследование социалистов, и о таком небывалом событии все заговорили. Революционеры в об'яснение своего поступка выпустили прокламацию, а кроме того, через некоторое время они отпечатали и широко распространили отдельным оттиском описание всех условий заключения политических каторжников в харьковской тюрьме, с точным указанием

наиболее возмутительных случаев. Правительство в этот период—после не вполне удачного окончания турецкой войны 1877—78—года избегало слишком раздражать русское общество и пыталось привлечь нарождавшуюся буржуазную интеллигенцию к содействию власти в ее борьбе с революционерами. С этой целью руководитель правительственной политики граф Лорис-Меликов принял несколько мер как бы либерального характера и много говорил о своем намерении смягчить наиболее ненавистные для всех проявления правительственного и чиновничьего произвола. Одной из первых же мер этого показного либерализма явилась отмена дальнейшего заключения политических каторжников в харьковских одиночках, о которых распространилось столько слухов, и перевод осужденных подальше от глаз,—в Сибирь.

Позднею осенью 1880 года все централисты, совершенно для них неожиданно, были вывезены из ненавистной „централки" и временно помещены в пересыльной тюрьме города Мценска, Орловской губернии, уже не в одиночках, а в общих камерах, где им предстояло прожить до весны в ожидании отправки в Сибирь.

Многие каторжники вышли из покинутых келий еле живыми, и своим истощенным видом они при первой встрече производили на всех самое тяжелое впечатление, но нашлось несколько здоровяков крепкого духа, которых и централка не надломила и не отразилась на их внешности сколько-нибудь заметно. Одним из этих немногих был Петр Алексеев. Он перенес все то, что и прочие товарищи; он участвовал в их упорной голодовке; но, наряду с Рогачевым и Здановичем, вступил во мценскую тюрьму несокрушенным и бодрым, прямо на зависть остальным, менее благополучно выдержавшим эти годы полного одиночества и всяческого гнета. Люди, встречавшиеся с ним в этот период, все отмечают его железное здоровье и физическую силу, его бодрость и общий под'ем надежд и веры в будущее.

Для расцвета надежд были тогда некоторые основания не только в перемене мрачной обстановки харьковской централки на более сносные условия заключения, но и в новых веяниях, охвативших к этому времени Россию. Пока Алексеев и его товарищи, деятели 1873—75 годов, отгороженные от мира глухой стеной, звенели цепями, одиноко расхаживая по своим камерам, на воле революционное движение все более росло вширь и разгоралось не попрежнему. Теперь уже существовала в России сильная, строго об'единенная организация революционеров; внимание к их деятельности, и даже некоторое сочувствие к ней, распространялось в различных слоях общества; в

больших городах начинали возникать не только кружки социалистов-рабочих, но и целые маленькие рабочие союзы, как, например, северно-русский и южно-русский; правительство явно теряло голову и шаталось от бессильных попыток запугивания своих противников к неумелому заигрыванию и к намекам на свою готовность что-то такое улучшить в наших порядках и что-то подправить чуть-ли не на европейский лад...

Все это оживляло в людях веру в лучшее будущее России и в грядущее торжество их идеалов, но были в новом движении и такие стороны, которые социалистов старого закала приводили в недоумение и даже тревожили. Ведь они почти все понимали социализм в анархическом духе и были до конца ногтей народниками, т.-е. ожидали всего хорошего только от самостоятельных действий народной массы. Всякое правительство, хотя бы и либеральное, они считали вредным и надеялись на то, что крестьяне и рабочие, низвергнув теперешнюю власть, сумеют прекрасно об'единить свои независимые общины и артели по-своему, без всякого руководства со стороны какого бы то ни было начальства. В своей собственной организации они устранили начисто всякую власть и в „администрацию" своего общества вводили всех членов по очереди. Так, по их мнению, всегда и везде должны поступать искренние социалисты. А теперь по слухам, доходившим до них во Мценске, на воле получает преобладание другое направление, с ихним не вполне сходное. Действующее теперь в России тайное общество,—„партия Народной Воли",—имеет во главе всех своих отделов своего рода правительство, — исполнительный комитет, членов которого никто не выбирает; эти члены сами пополняют свой состав без ведома и согласия всех прочих товарищей. Комитет решает и приказывает, а члены общества его власти подчиняются—все равно, что в войске. Партия в своей деятельности не ограничивается пропагандой и подготовкой всенародного восстания, а сама вступает в борьбу с императором и его слугами, устрашая их рядом нападений и убийств. Ближайшей своей целью Народная Воля ставит отвоевание для России политической свободы, а не полное уничтожение сразу же всех зол и всякой неправды, одолевающих человечество при современном строе общества... Не измена ли все это заветам чистого социализма?...

Так как мценская тюрьма была не каторжная, а пересыльная тюрьма, то туда в конце 1880-го и в начале 1881-го года было свезено много лиц, назначавшихся к высылке в Сибирь не только по судебным приговорам, но и „административно", т.-е. без суда, по распоряжению ми-

нистров. Среди таких много было народовольцев, арестованных лишь недавно, проникнутых боевым одушевлением и защищавших свои взгляды пылко и убедительно. Они напоминали староверам о всех жестокостях правительства и доказывали невозможность действительной подготовки народа к восстанию, а не просто разговоров о восстании, при существующих у нас полицейских порядках и всеобщей придавленности; они указывали на то возбуждение, какое порождает в широких слоях русского населения всякий новый террористический акт и на тот страх, который, очевидно, питает правительство к террористам; наконец, они настаивали на том, что политическая свобода ценна и выгодна не одним богатым, но и всем и каждому, а социалистам только она даст возможность громкой пропаганды и откроет им доступ ко всем видам полезной для народа работы...

Споры на эти жгучие темы велись во мценской тюрьме неустанно и страстно, тем более, что спорщиками являлись люди, так долго остававшиеся вне жизни и вне всякого общества. Тюремные порядки, установившиеся в эту пору во Мценске, после централки могли показаться прямо раздольем. Заключенные проводили все время вместе, имели свидания с родственниками, смотритель был с ними вежлив и допускал разного рода льготы. Естественно, что настроение у всех заключенных, и особенно у „централистов", было повышенное и эти несколько месяцев во мценской тюрьме казались им отдыхом от всего пережитого.

Алексеев встрепенулся в новых условиях не меньше всех других централистов. Он являлся деятельным участником кипевших в тюрьме споров и сблизился всего более, и по взглядам и в личных отношениях, с четверыми из товарищей; с известными деятелями 1874 года Коваликом и Войнаральским, с чайковцем Рогачевым и с харьковским студентом Буцинским, организатором убийства князя Кропоткина, т. е. мстителем за бессильных для самозащиты „централистов",

С. Ф. Ковалик в письме к Э. К. Пекарскому, собиравшему впоследствии сведения о жизни Петра Алексеева, говорит о той поре так: „из всех рабочих, сидевших в мценской тюрьме, он был единственным завсегдатаем клуба для свиданий, устроенного в особых комнатах, напоминавших скорее частную квартиру, чем тюрьму. Между рабочими и интеллигентами,—товарищами по заключению,— не всегда могли установиться вполне естественные отношения. Интеллигенция, шедшая сама в народ, чтобы сделаться рабочими, не могла не идеализировать несколько класса работников и потому относилась к представителям

его в тюрьме с особою предупредительностью, рабочие же, в свою очередь, не могли не чувствовать, что интеллигенты относятся к ним как-то иначе, чем друг к другу, и потому естественно проявляли некоторую подозрительность. Петр Алексеев был один из немногих рабочих, которые никогда не ощущали своего яко бы неполноправия в среде товарищей, хотя бы и в сторону возвеличения трудящихся классов. Петруха совершенно одинаково относился ко всем товарищам, какого бы происхождения они не были .. В тех случаях, когда по каким-нибудь вопросам тюрьма делилась на два лагеря, Петруха всегда голосовал с группой, с которой он сошелся по своим революционным убеждениям и которую он считал наиболее активной, но в то же время вполне дружески относился ко всем заключенным, каких бы мнений они ни придерживались. Этому нисколько не мешала присущая ему некоторая резкость характера".

Весною 1881 го года состоялась отправка мценских сидельцев в Сибирь. Тот-же Ковалик описывает это путешествие так: „партия быстро промчалась по железной дороге до Тюмени и отсюда на тройках; несколько медленнее двигались на баржах по рекам (Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи до Томска) В партии не было уголовных. Тюремное начальство в то время еще признавало привилегии политических арестантов и давало им подводы,—по одной лошади на несколько человек. Партия в день проезжала по 25 верст и через два дня в третий останавливалась на дневку .. При таких условиях путешествие не было утомительно. В телеги садилось по три человека, кто с кем хотел. Партия двигалась шагом, так, что было достаточно времени потолковать в пути о всевозможных вопросах... Петруха ехал обыкновенно с Коваликом и Буцинским... Втроем они составляли продовольственную коммуну. Партия нашла более удобным на время дороги разбиться на такие маленькие коммунки, которые по числу своих членов получали определенную ассигновку от артели и сами забирали продукты у торговцев или заказывали их артельному старосте; на этапах же обыкновенно начиналась стряпня в котелках... Партия в общем шла довольно мирно. Сколько-нибудь серьезных недоразумений не было не только между собою, но и с начальством.

„Часть следующих на каторгу и поселение пыталась образовать из своей среды особую организацию, которая, по освобождении ее членов естественным путем вследствие окончания сроков или посредством побегов, должна была принять участие в революционной работе Петруха, конечно, присоединился к этой организации и искренно верил в возможность осуществления на практике ее задач. Организация выработала свою собственную программу

революционной деятельности, представлявшую собой развитие программы 70-х годов и не во всем согласную с программою Народной Воли. Петруха оставался по существу прежним пропагандистом, искавшим почвы для деятельности в народе, хотя несколько на иных основаниях, чем в 70 х годах. Поэтому он не мог вполне сочувствовать сосредоточению сил партии исключительно на политическом терроре и вместе с другими членами организации пытался внести в программу Народной Воли некоторые поправки. Начинавшаяся организация каторжан не могла, конечно, не думать о побегах в пути. Кое что в этом направлении было подготовлено, намечены были люди, которых предполагалось выпустить в первую голову, но практического осуществления эти планы не получили.

„Путешествие на каторгу было в известной степени продолжением каникул, начавшихся в Мценске. Петруха, как и многие в партии, чувствовал себя в дороге настолько хорошо, насколько это возможно для людей, лишенных свободы Чистый и здоровый сибирский воздух, в связи с более или менее удовлетворительным питанием, поддерживал силы странников, и большинство их имело бодрый вид и не тяготилось путешествием. Партия на некоторое время задержалась в Красноярске, а затем прежним порядком отправилась еще за тысячу верст, в Иркутск.

„В Иркутской тюрьме,—продолжает свое повествование Ковалик,—партия засела надолго до установления зимнего пути. Здесь заболел и скончался любимый всеми товарищами Дмоховский. Петруха, бывший с ним в довольно близких отношениях, задумал сказать речь на его похоронах и уже изготовил проект ее, но когда узнал, что более сильный оратор,—Мышкин, готовит с своей стороны надгробное слово, то отказался от своего намерения. Проект речи Петрухи был составлен очень недурно и, как все, что он говорил, проникнут сильным чувством, которое, на ряду с глубокою убежденностью, отличало его во всех публичных выступлениях. В бытность в Иркутске Петруха, между прочим, получил письмо от интеллигентного рабочего Бачина, временно сидевшего в тюрьме, но отдельно от партии. В этом письме Бачин, без всякого конкретного основания, посылал какие-то упреки товарищам Алексеева, как интеллигентам. Петруха, давно уже переставший считать себя существом, отличным от своих интеллигентных товарищей, с жаром вступился за них и отчитал, как умел, в ответном письме своего корреспондента. Петруха настолько слился со своими товарищами по заключению, принадлежавшими к интеллигентным слоям общества, что его трудно было отличить от интеллигента. Единственная черта, которая выдавала его, как бывшего рабочего,—это

настойчивость, с которою он всегда требовал самого точного равенства всех членов артели в исполнении какихнибудь общих работ. Если он отбыл свое дежурство по приготовлению пищи или уборке камеры для своей маленькой коммуны или исполнению какой-нибудь работы, например, разлива общего чая для всей артели, то он спокойно созерцал, не трогаясь с места, мелкие затруднения следующего дежурного, не приспособившегося почему-либо к исполнению лежащей на нем работы, но зато сам добросовестно и без посторонней помощи выполнял лежащие на нем обязанности. Единственное исключение он делал в своей маленькой коммуне для слабого здоровьем товарища Буцинского. По соглашению с Коваликом они освободили Буцинского от всех работ и ухаживали за ним поскольку это было необходимо".

В Иркутске всех каторжников опять хотели обрить, но теперь они решительно воспротивились выполнению над ними унизительного обряда и сумели настоять на своем. Начальство тюрьмы вышло из затруднительного положения, признав после медицинского осмотра всех политических страдающими разными болезнями, что давало возможность освободить каждого из них от бритья, как бы не нарушая общего порядка. Других случаев резкого столкновения с начальством в Иркутской тюрьме не происходило.

В начале зимы осужденных отправили дальше за Байкал, опять на лошадях, но уже быстрее, чем их везли раньше. Окончательным местом их назначения являлась Карийская каторжная тюрьма, находившаяся в Нерчинском округе Забайкальской области, где они должны были отбывать свои сроки в отдельной от уголовных тюрьме, состоявшей в ведении особого офицера.

VI.

По речке Каре, притоку реки Шилки, расположены золотые россыпи, которые издавна разрабатывались в пользу императорского кабинета уголовными каторжниками. Так как россыпи тянутся на протяжении нескольких десятков верст, то для содержания каторжников, число которых доходило в начале восьмидесятых годов до 2000 человек, вдоль реки, начиная от ее устья, на разных промыслах было выстроено четыре мужских и одна женская тюрьма, находившиеся под охраной всякого рода начальства и многочисленного караула, частью казачьего и частью солдатского. Иные из каторжников, окончивших срок тюремного заключения, проживали тут же в разных домишках и лачугах, образовавших близ тюрем небольшие поселки самого убогого вида. Невдалеке от промыслов, по обоим краям речной долины, тянутся покрытые хвойным лесом

невысокие горы, а за ними на тысячи верст во все стороны громоздятся более мощные горные хребты, местами непроходимые по своей крутизне и каменистости, а чаще покрытые сплошной тайгой. От Москвы карийские рудники лежат приблизительно за 7000 верст и от Иркутска за 2000 верст. В этой глуши правительство императора Александра II-го решило упрятать своих противников, надеясь, что отсюда и бежать им будет невозможно, и установить сношения с их единомышленниками в России едва ли им удастся.

Для политических на одном из промыслов была выстроена новая тюрьма, состоявшая из одноэтажного деревянного строения, разделявшегося внутри на пять больших камер. При тюрьме находился небольшой дворик, обнесенный высоким частоколом, а внутри этой ограды была выстроена для заключенных маленькая баня За стенами острога, недалеко от бани, имелось другое небольшое здание — мастерская, куда некоторых арестантов днем выводили под конвоем для столярной работы. Раньше политических вынуждали участвовать, как и уголовных, в промывке золота, но к тому времени, когда прибыл на Кару Алексеев, этого уже не велось. Обязательных работ на государственных преступников не налагалось, и „каторга" состояла для них именно в вынужденном безделии и в необходимости проводить долгие годы почти неподвижно в тесных камерах своей тюрьмы, где большую часть пространства занимали широкие деревянные нары

С прибытием „централистов" в тюрьме набралось около сотни заключенных и теснота была большая. Однако, внутренние порядки тут были до той поры довольно свободные. Политических не брили, не заставляли их постоянно носить свои цепи, а платье казенного арестантского покроя предлагали надевать лишь при посещениях какого-нибудь крупного начальства; в остальное время цепи держались обыкновенно в запасе под подушками, а из арестантских халатов заключенные научились перекраивать себе пиджаки и куртки по их собственному вкусу. Ремесленникам из числа политических каторжников разрешалось иметь кое-какие инструменты и некоторые мастера ухитрялись выделывать в тюрьме довольно изящные и замысловатые вещицы, охотно раскупавшиеся тюремными чиновниками. Разрешено было иметь при тюрьме библиотеку. Родные и знакомые понасылали карийцам до 3.000 томов по всевозможным отраслям знания и по изящной литературе на русском и на иностранных языках и многие из заключенных днем, когда в камерах бывало слишком шумно, отсыпались, а по ночам сидели над книгами с таким усердием, что через несколько лет выходили с каторги очень образованными людьми.

В политической тюрьме нашлось много певцов с прекрасными голосами и несколько лиц хорошо знавших музыку; составился хор человек в сорок; в тюремных камерах нередко происходили концерты, на которых исполнялись и народные песни, и отдельные арии, и даже маленькие отрывки из опер. Самодельные шашки и шахматы, а также и карты, помогали коротать время любителям этого рода забав. Наконец, существовала в тюрьме и своя литература: по временам появлялись рукописные листки юмористического тюремного журнальчика, а некоторые из заключенных для развлечения публики не ленились сочинять целые юмористические романы фантастически революционного содержания. На ряду с этим существовал литературный труд и более серьезного характера, доставляющий тюремной артели некоторые средства· это — переводы на русский язык иностранных научных произведений, выполнявшиеся по тайному заказу из России зараз несколькими политическими каторжниками за небольшую плату, поступавшую целиком в общую тюремную кассу. Почти все политические каторжники того времени, как социалисты, считали своим долгом жить в тюрьме коммунально; все получки от родных и все заработки шли в общую кассу и употреблялись на улучшение быта всех политических заключенных без различия их партийности или каких-нибудь других признаков.

Для заведывания кассой и для сношений за всю тюрьму с карийскими наезжими властями выбирался один староста, подчиненный в своей деятельности общей сходке всех заключенных, а в помощь старосте назначались по очереди хлебопеки, повара, банщики, истопники и ламповщики. Наиболее тяжелые и неприятные работы, например, уборка камер, чистка на всю артель картошки и т. п., выполнялись всеми также по очереди. Казенное содержание политических было таким же, как и содержание уголовных, т.-е. самым скудным, но благодаря существованию артели и общей кассы находились средства для некоторого улучшения общего питания, а сверх того ежемесячно каждому выдавалась от артели на руки маленькая сумма в его личное распоряжение для таких расходов, которые зависят от личных вкусов каждого: иной употреблял свою получку на покупку чая, другой на табак, третий на письменные принадлежности и т. п В самые лучшие времена эти выдачи доходили до 3—4 рублей на человека, но чаще они спускались гораздо ниже, а в наиболее крутую пору не превышали одного рубля в месяц. Получил свой рубль, — и кути на него, как знаешь.

Невмешательство властей во внутреннюю жизнь тюрьмы и уменье заключенных сорганизоваться помогали карийцам поддерживать свое душевное и физическое здо-

ровье и не падать духом при воспоминании каждым о долгом сроке своего каторжного искуса и о тех возможностях, которых он лишился, отдавшись служению революции Но тюрьма—все таки тюрьма. Молодые, здоровые люди, в большинстве очень деятельного и подвижного темперамента, были вынуждены губить свою молодость, проводя год за годом все в том же сарае, обнесенном высоким частоколом, все в тех же унылых стенах битком набитых камер, в густой толпе все тех же товарищей по заключению. Это было тяжело для всякого и совершенно невыносимо для тех, кто горел стремлением к деятельной борьбе с господствовавшим в России произволом А таких неугомонных людей на Каре было много и они, конечно, спали и видели одно побег и продолжение революционной работы. Приготовления к побегу нескольких человек путем подкопа под пали (т.-е. частокол острога) велись на Каре еще до прибытия централистов, но с их появлением изменился и состав предполагаемых беглецов и самый план действий

Решено было воспользоваться тем обстоятельством, что мастерская находилась уже за палями, вдоль которых снаружи и днем и ночью расхаживали часовые. Туда впускали и оттуда выпускали людей по счету, но счет можно было запутать, а тем, кто днем притаится в мастерской, ночью можно будет выбраться на крышу, тихонько спуститься оттуда на землю и незаметно пробраться до ближнего леса... Чтобы таким путем могли скрыться несколько пар (более чем двоим зараз в мастерской укрыться было бы трудно), необходимо было принять особые меры в самой тюрьме. Каждый вечер по всем камерам властями производилась поверка арестантов и надо было сбить с толка и поверяющих. Для этого заключенные понаделали чучел, приготовив их очень искусно. По вечерам эти чучела укладывались на нары и прикрывались халатами так, что они вполне походили на спящих арестантов. Конвойные каждый вечер считали и насчитывали всех на месте

При помощи этих хитростей партии удалось в самом начале весны 1882 года устроить побег двоим товарищам, которых артель решила выпустить в первую очередь: Мышкину и рабочему Хрущеву. Те ушли благополучно. Чтобы дать время первым беглецам уйти подальше, карийцы выждали недели три и только тогда выпустили вторую пару, потом третью, и наконец, и четвертую В четвертой паре шли Минаков и Крыжановский, — оба люди нетерпеливые и нервные. Мастерская находилась недалеко от частокола, охраняемого часовыми, и от караульного дома; спускаться с ее крыши и пробираться полянкой до леса необходимо было очень осторожно, а Минаков и Крыжановский разнервничались, нашумели, и часовой их заметил.

Он, конечно, открыл стрельбу. Выбежал весь конвой. Тотчас же, не успев одеться, вскочил с постели и примчался на место и смотритель. Тревога поднялась по всей Каре... Минаков и Крыжановский успели все-таки добежать до лесочка и там скрыться, но это было еще только полдела. Местность вокруг Кары гористая и таежная, проходов по ней немного, и такие проходы местным жителям известны все наперечет. Власти поставили на ноги все окрестное население и через несколько дней не только двое последних неудачников, но и вышедшие раньше их две пары были схвачены не очень далеко от Кары. Только Мышкин и Хрущев, пространствовав целый месяц под видом рабочих, со множеством приключений, они успели добраться до Владивостока и там уже присмотрели морской пароход, который должен был увезти их в Америку... Но в самый последний день их пребывания на берегу, владивостокские власти получили извещение о карийском побеге и оба путешественника были задержаны. Тщательно подготовленный и удачно выполненный побег закончился общим провалом из-за невыдержанности двоих участников.

Не только ближайшие власти, но и высшее петербургское правительство было до крайности раздражено карийским побегом, который заключенные успели скрывать целый месяц. Конечно, это было возможно только при общем участии в деле всего тюремного населения. В наказание за это и в предупреждение всяких побегов на будущее время, свыше решено было отнять у карийцев все их прежние вольности, рассадить их под замком мелкими группами по небольшим камерам и всех заковать, обрив каждому по каторжным правилам половину головы. Заключенные, уже свыкнувшись со своими прежними порядками, пришли в сильное возбуждение. Повторение на долгие годы того, что они уже испытали в централке, казалось им невыносимым. Они решили сопротивляться всеми силами, не останавливаясь даже перед поджогом тюрьмы в тот момент, когда солдаты ворвутся в тюремное здание. Для этого были сделаны все нужные приготовления, намечен угол здания, откуда следовало начинать поджог, заготовлен всякий горючий материал и назначены поджигатели. Заключенные перестали впускать в тюрьму начальство. На крыше тюрьмы они установили караульный пост и там всегда стоял часовой, наблюдавший за передвижением воинских частей за оградой. Начальство сосредоточило вокруг тюрьмы целое маленькое войско, но с решительным натиском медлило, так как настоящее сражение и кровопролитие было бы для правительства невыгодным: о безжалостном истреблении политических на каторге пошли-бы негодующие слухи по всей Европе. Начальство держало тюрьму в осаде и томило противников постоянным ожида-

нием нападения врасплох, что, казалось, предстояло с часа на час... Но проходили дни и ночи; прошли целые недели; тюрьма была обложена кругом; а приступа все не было... Заключенные для отпора разбились все на военные отряды с особыми задачами, вооружились ножами, досками и всем, чем только возможно; общее начальство они вверили двоим бывшим офицерам: Рогачеву и Тархову, и держались постоянно на-чеку.

Такое состояние требует сильнейшего нервного напряжения и не может удерживаться в толпе без конца. Недели через две беззаветная готовность к бою—так к бою, а не то к самосожжению, стала незаметно сбывать, предосторожности соблюдались уже не так строго, как раньше; караульные иногда дремали; часовой на крыше дежурил не всегда... Власти (губернатор Ильяшевич и батальонный командир Руденко) заметили по внешним признакам, что первый пыл у людей уже поостыл, и в ночь на 11-е мая, когда все спали, тихо придвинули к ограде сотни две казаков и солдат, а затем внезапно ворвались и в самое здание тюрьмы и начали хватать всех заключенных и выводить во двор, а там их тотчас же заковывали в кандалы и переодевали во все казенное. Кое-кто вскочил спросонок, пытался сопротивляться, но это ни к чему не вело. Вскоре все были закованы, обриты и препровождены небольшими группами в секретные камеры соседних тюрем. Там их держали месяца два в страшной тесноте, впроголодь, без прогулок, под строжайшим караулом. По прошествии двух месяцев их вернули на старое место, но своей тюрьмы они теперь не узнали. Вместо пяти больших камер, все помещение было перегорожено на какие-то клетки; в каждую клетку напихали по несколько человек и заперли на замок. Книги оказались опечатаными и находились под запретом Инструменты и собственные вещи отняты. Все очутились как бы в карцере, и даже прогулки по двору дозволялись теперь только под конвоем и на самое короткое время. Начальство, очевидно, стремилось перевести политических на положение уголовных и распространились слухи, что к ним собираются применять даже порку.

Нравственное состояние карийцев после всего пережитого и так уж было удрученным, а с возникновением последних слухов оно у многих стало отчаянным. Чтобы добиться перемены своего положения, почти все заключенные решили об'явить голодовку. Действительно: пред'явив свои требования, они начали протест и голодали 12 дней самым упорным образом Результат был совершенно такой же, как и в Харькове: формально начальство не сдалось, т.-е. не об'явило, что уступает, но на деле некоторые из самых тяжелых сторон нового порядка были устранены сейчас же, а все другие стеснения начали отпа-

дать постепенно. Через несколько месяцев исподволь восстановилось прежнее положение, но восемь карийцев, а в числе их и беглецы Мышкин и Минаков, после майских беспорядков были удалены с Кары и засажены одни в Петропавловскую, а другие в Шлиссельбургскую крепости в России, где Мышкин и Минаков, оба в разное время и по различным поводам, были впоследствии расстреляны.

По воспоминаниям всех карийцев, Петр Алексеев переживал все эти события вместе со всеми твердо и мужественно. Он, конечно, принимал участие и в устройстве побега Мышкина, и в приготовлениях к отпору войскам, и в карийской голодовке. С товарищами он находился в отношениях ровных и дружелюбных, но близок был только с теми же лицами, с которыми сошелся еще во Мценске. В развитии своем он на Каре, разумеется, сильно подвинулся, так как тут он постоянно находился в обществе интеллигентных людей, мог пользоваться хорошими книгами, а при желании мог и серьезно заниматься. На Каре были среди заключенных недурные специалисты по разным предметам: был один профессор химии (Богданович), несколько очень сведущих врачей, хороших математиков и т. д. Некоторые из них читали по своим предметам курсы для желающих и руководили их занятиями. Алексеев интересовался всего более политической экономией и литературой по рабочему вопросу, с которой успел на Каре довольно недурно ознакомиться.

В 1883 году по случаю коронации нового императора Александра III-го был издан манифест, сокративший для некоторых каторжан сроки их заключения в тюрьме, но к Алексееву этот манифест применен не был. Однако и помимо всяких смягчений, вследствие особого,—сокращенного, порядка исчисления годов каторги, пребывание Алексеева на каторжном положении заканчивалось в 1884 году. Со времени его ареста прошло уже девять лет. Молодой человек превратился за эти годы в 37-ми летнего мужчину, много испытавшего свою железную силу и несокрушимую нравственную твердость. Ему предстоял теперь выход „на поселение". Для уголовных преступников это означает жизнь в каком-нибудь сибирском селе, среди крестьян, в условиях очень сходных с теми, к каким они привыкли в России. Но политических преступников по окончании ими сроков каторги только по особой милости оставляли на поселении в Забайкальской области, а по большей части высылали их в более отдаленную Якутскую область, о которой в то время вне ее только и знали, что там очень холодно и что русских там почти нет, а живут в этой пустыне какие-то полудикие якуты. Туда-то и повезли теперь,—чтобы он не смутил кого-нибудь своим красноречием,—все еще не забытого правительством, Алексеева.

VII.

Якутская область, действительно, очень велика и на большой части своего безмерного пространства пустынна. Но в южной ее части, где несколько потеплее, верст на двести в обе стороны от реки Лены разселилось довольно много жителей—якутов, которые существуют главным образом скотоводством, хотя иные из них уже с сороковых годов XIX века начали понемногу делать посевы ячменя (хлеба самого неприхотливого и выносливого к холоду) В восьмидесятых годах многие якуты сеяли кто по 2, по 4 пудика, а кто и пудов по 10—12. Однако, чаще всего запашки у якутов очень невелики и земледельцы они еще мало привычные к этому делу. Многим из них служит подспорьем в их хозяйстве охота, преимущественно на белку; многие добывают рыбу в реках и в бесчисленных в этом крае озерах; наконец, иные уходят на заработки в город Якутск или на золотые промыслы, расположенные по реке Витиму, за 1200 верст от Якутска. В Якутском округе (т. е. уезде) всего больше якутов осело к востоку от реки Лены, в четырехугольнике, который образуют три больших реки огромная Лена на западе, ее приток Алдан на востоке (шириною в низовьях версты две) и приток Алдана река Амга (шириною с Оку под Калугой). С юга этот четырехугольник ограничен предгорьями совершенно диких и пустынных гор, в которых бродят немногочисленные звероловы-тунгусы с их оленями С севера на юг вся эта местность имеет около 300 верст протяжения, а с востока на запад около 200 верст. Никаких городов на всем этом пространстве нет. Сами якуты живут тут не в деревнях, а разбросано, иные в одиночку верст за 30, за 50 от ближайшего соседа, а иные устраиваются вдоль какой-нибудь речки или по берегам большого озера семьи по две, а то и по пять-шесть семей, на более близком расстоянии друг от друга, иногда даже на одной поляне или на одном побережье так, что из одного жилья можно бывает видеть два-три чужих дымка. За таким населенным уголком надо бывает проехать несколько десятков верст сплошной тайгой до другого такого же уголка или просто до одинокой юрты Самый неселенный пункт всего северного заречья—поселок Чурапча. В начале 80-х годов там было с полсотни жителей якутов, уголовных ссыльных, духовенства местной церкви, и писарей так называемой „инородной управы" Батурусскаго улуса,—учреждения несколько соответствующего нашему волостному правлению. Якутская волость,—улус, охватывает огромную площадь с хорошую русскую губернию и разделяется на общества,—наслеги, по пространству сходные с нашими уездами или

с очень большими волостями; однако, населения на всем этом пространстве насчитывается обыкновенно всего несколько сотен или, самое большое, немного больше одной тысячи душ. Алексеев был первоначально назначен в Сасыльский наслег Баягантайскаго улуса, верст за 300 к северо-востоку от города Якутска, но впоследствии он сам перевелся в Жулейский наслег Бутурусскаго улуса, верст за 80 от Чурапчи, где не так далеко от него,—но все-таки за десятки верст,—проживало где в одиночку, а где маленькими группками, еще десятка с два политических ссыльных. Остальные ссыльные революционеры были расселены частью на западном берегу Лены, а частью на восточном по всему пространству за-ленского четырехугольника, а некоторые даже за его пределами, почти в пустыне.

Якуты все числятся христианами и имеют русские имена, но по-русски из них сколько-нибудь понимают лишь очень немногие. Язык ихний несколько сходен с татарским, но по обычаям и по житейской обстановке татары стоят гораздо выше якутов. Якутское жилище,—юрта, похожа больше на шалаш с большой трубой посередине; нижний край этой трубы срезан и туда можно вставлять стоймя дрова и отапливать юрту, а также и кипятить воду в котелках или поджаривать мясо на сковородках, но хлеба испечь нельзя; вместо хлеба якуты приготовляют подпеченную на камельке ячменную лепешку. Зимой в одной юрте с людьми помещается и скот, а потому воздух там в зимнее время стоит невыносимо удушливый и зловонный. Большинство якутов живет в большой бедности и питание взваром сосновой коры (бутуга) там составляет не редкость, а общераспространенный обычай. Бедняк имеет десяток, много два десятка тощих коровенок и заморенных телят и кое-как перебивается со своею семьей снятым молоком, а масло он обыкновенно обязан сдавать местному богачу, у котораго он весь в долгу. Богач живет почти так же грязно, как и бедняк, но только сытно. У него в стаде несколько сотен коров, есть табун лошадей и много сенокосов, которые выкашивают для него его неоплатные должники. Ни лавок, ни базаров в улусах нет: все необходимое люди здесь добывают или при поездках в Якутск за сотни верст, что не всякому доступно, или у богача, в долг под новые работы и под масло от своих коровенок. Русских обыкновенный улусный якут почти никогда не встречает. Вольных переселенцев там нет, а из уголовных ссыльных в улусы попадают только старые бродяги, татары и башкиры-конокрады, и те из сибирских ссыльных, которые учинили какое-нибудь преступление уже на месте ссылки. Такие занимались в улусах кражами и грабежами, а не то брали с якутов отступное и уходили в бега. Якуты их боялись и вообще к русским относились опасливо.

Вот какая обстановка ожидала Алексеева на месте поселения. По тогдашним законам он должен был прожить здесь десять лет безвыездно в звании „ссыльно-поселенца", чтобы только тогда ему было дозволено приписаться в крестьяне какой-нибудь сибирской волости и в новом звании „крестьянина из ссыльных" выехать из Якутской области в Сибирь же, но все-таки поближе и не в такую глушь.

Освоиться в этих необычных условиях и создать себе в улусе сколько-нибудь сносную жизнь было бы невозможно для свежего человека, не умеющего говорить по-якутски, но всякому новичку на первых порах помогало свое ссыльное товарищество. Некоторые из ссыльных, проживших в этом крае уже года три-четыре, успели за это время овладеть якутским языком, а один из них,—Пекарский, начал составлять для товарищей маленькие рукописные словарики, которыми многие пользовались на первых порах, и благодаря им кое-как об'яснялись с улусными жителями Были такие политические ссыльные, которые заинтересовались задачей развития в таком холодном крае земледелия, и они приобрели лошадок, кое-какое обзаведение, и сеяли понемногу ячмень и даже пшеницу. Другие не занимались хлебопашеством, но получали в свое пользование сенокосный надел, и летом выкашивали свое сено, выполняя сами и все женские работы, а потом часть сена оставляли для прокорма своего собственного конька, а часть продавали по местной цене: от 1-го до 3-х рублей за большой воз Как ни ничтожна эта цена по российским понятиям, но для ссыльного и 30—40 рублей, которые он мог выручить на этом деле, составляли большое подспорье. Помимо продажи сена в улусе какой-бы то ни было другой заработок найти мудрено. Все нужное ему в его обиходе якут делает себе сам; ремесла в таком крае ссыльному ни к чему не могут служить; научные знания тоже ни к чему; только косой и можно себе что-нибудь добыть.

Однако и сенокосный заработок слишком ничтожен, чтобы можно было просуществовать на него круглый год, да притом добиться земельного надела сразу же никому не удавалось, обыкновенно для этого надо было потерять много времени в настойчивых хлопотах; наконец, сенокосный труд не всякому под силу. Иной из ссыльных, может быть, великолепный литейщик или превосходный чертежник, к земледельческому труду и к хозяйству был совершенно неспособен. В тюрьме казна содержала арестантов, выдавая им прямо пищу и тюремную одежду, а на местах ссылки тюремные „кормовые" заменялись казенным „пособием", выдававшимся ежемесячно в размере 6—12 рублей в месяц, смотря по дороговизне жизни в том или ином месте. В Якутской области, по ее отдаленности (город Якутск отстоит от Москвы за 8000 верст), мануфактура,

сахар, керосин и тому подобные привозные предметы стоят гораздо дороже, чем даже в Иркутске. Ржаная и пшеничная мука там тоже составляет привозный предмет и в восьмидесятых годах цена одного пуда ржи колебалась на местном рынке, смотря по году, от 1 р. 60 к. до 4 р. 50 к. В виду такой дороговизны размер пособия в Якутской области составлял 12 рублей в месяц. Это „пособие" казак из окружной полиции ежемесячно развозил всем политическим ссыльным и на эти деньги те могли покупать себе у якутов молоко, масло и мясо для своих обыденных нужд, а кое-что откладывали в запас, чтобы раза два-три в год с'ездить в город Якутск для закупки муки, соли, табаку, холста, обуви и всего прочего. Сбережений от ежемесячнаго „пособия" накапливалось, разумеется, слишком мало, и тут-то сенокосный заработок играл большую роль Он давал средства для обновления своей одежды, для приобретения на несколько месяцев вперед кирпичного чая, бумаги, конвертов, и для участия в разных общественных расходах, которые у ссыльных всегда бывали, то кому-нибудь на побег, то на похороны, то на выписку газет и журналов и т. д

Как человек физически необыкновенно сильный и в работе удивительно спорый, Алексеев был отменным косцом. Он работал в одиночку и выставлял на своем лугу до 70 возов сена, а осенью, как и большинство ссыльных, имел обычай выезжать верхом на своем коньке, с перекинутыми через седло кожаными сумами для вещей, в город, за 250 верст от своего жилья, для закупки припасов на зимнюю пору.

На такие крупные сравнительно расходы, как покупка коня, постройка собственного домика, приобретение хозяйственного обзаведения и т. п., казенных денег, даже вместе с заработанными, конечно, не хватало Тут помогало человеку товарищество Если ни у кого из товарищей не было нужной суммы, то ссыльные входили в сношения с городскими купцами и те ссужали нуждающегося деньгами или припасами в долг, хотя-бы лично его и не знали, уверенные в том, что не он, сам, так товарищи-политики за него уплатят. Благодаря такой сплоченности ссыльных социалистов даже в диком и суровом крае с инородческим населением люди все-таки не гибли и не дичали, а жили годы, а иные и десятки лет, сохраняя человеческий облик и свои прежние интересы.

Много помогало духовному самосохранению улусников их забота о пополнении запаса принадлежавших им книг и о выписке газет и журналов. Выписывались газеты и журналы вскладчину всем улусом (т.-е. ссыльными одного улуса) и передавались из одного жилья в другое по очереди. Книги привозились с собою теми ссыльными, которые назначались в Якутскую область прямо из России, и

по большей части при отъезде, с окончанием срока ссылки, оставлялись на месте, благодаря чему со временем у улусников образовалась порядочная библиотека. Так как число ссыльных постоянно увеличивалось вновь прибывшими, то духовная связь улусников с Россией не прерывалась. Новички привозили с собой и новые вести, и даже новые нелегальные издания так, что перемены во взглядах русских революционеров и не получавшие огласки в тогдашней печати события революционной жизни, хотя с большим запозданием, но все-таки доходиди до улусников и вызывали в их среде такие же споры и обсуждения, как и в Москве или на Каре. Таким образом в якутских улусах, как и в каторжных тюрьмах, усилия правительства сломить людей тяжелой обстановкой жизни и отнять у них веру в будущее не приводили к цели в огромном большинстве революционеры оставались революционерами и веры с свое дело не теряли.

Алексеев обладал от природы большой твердостью духа и был не из таких, которых легко сломить, а находя поддержку в бодром настроении своих ближайших товарищей, он тем более укреплялся в своей вере в грядущее освобождение народа, и на свое собственное будущее смотрел совсем не безнадежно. Он знал, что его имя хорошо известно в революционной среде, и дорожил своей репутацией. Мечта его состояла в том, чтобы, вернувшись со временем в Россию, продолжать работу для народа, т.-е. как для фабричных и заводских рабочих, так и для крестьян, так как сам он сознавал себя одинаково близким и к городскому пролетариату и к крестьянству и оставался по своим взглядам упорным народником Народовольчество его позднейших товарищей по каторге и по ссылке успело несколько повлиять на Алексеева, но вполне преобразить его оно не могло. К террористической деятельности его совсем не тянуло, и пока Народная Воля была сильна и выдвигала на первый план боевые задачи (вроде цареубийства и т. п.), он не собирался бежать, так как не ожидал встретить в России благоприятных условий для организации широких народных масс Позже, с разгромом Народной Воли, движение в России притихло, и беглецу из Сибири некуда было бы примкнуть для плодотворной работы. В силу этого Алексеев с побегом не торопился, но все-таки не оставлял мысли уйти, когда общее положение в России даст возможность надеяться на то, что и он со своими наклонностями найдет себе дело по душе и окажется действительно полезен. Товарищи по карийской тюрьме, ценя его духовную силу и глубокую революционную убежденность, дали ему перед его выходом с каторги двести рублей на побег, и Алексеев хранил эту сумму как зеницу ока и держал ее при себе в запасе до случая

Пускаться в путь наобум, без ясной цели, он считал напрасным и жил в улусе, коротая время частью в работе, а частью в чтении и в общении с товарищами ссыльными, с которыми встречался, бывая изредка в городе или заезжая погостить у них в ближайших наслегах и улусах заречья.

В своей обыденной жизни и в хозяйственном обиходе Алексеев отличался большой выдержкой, настойчивостью и обстоятельностью. Пристрастия к вину, к картам или к другим грубым развлечениям он не имел и в этом смысле был человеком безукоризненным, хотя и не отказывался в компании выпить рюмку другую, охотно пел в хору, и людей не сторонился. Почти все необходимое по дому или по хозяйству он делал сам, очень редко прибегая к найму якутов для каких-нибудь работ, в роде поставки дров, починки юрты и тому подобного. Юрту он соорудил себе отдельную от якутов, с досчатым полом (чего в якутских юртах не бывает), с русской печкой (чего тоже не бывает у якутов), со стеклами в окнах (якуты на зиму вставляют в окна льдинки), и жил совершенно один, соблюдая величайший порядок и опрятность, так как был человеком вполне культурным и грязи и неряшества терпеть не мог. Он и одевался всегда просто, но чисто, и в обращении с другими почти всегда сохранял ровный тон и несколько холодноватую вежливость. Иногда сдержанная страстность его натуры прорывалась в какой-нибудь минутной вспышке, но это случалось очень редко.

Так проходили для Алексеева годы жизни „на поселении" и оставалось не так долго ждать того срока, когда и он, как и прочие поселенцы, должен был по тогдашним законам получить право выезда из Якутской области и некоторой свободы передвижения в границах Сибири Где-нибудь в Иркутске или в Томске он мог-бы устроиться по-иному, мог бы вступить с сношения с новейшими революционерами, вновь примкнуть к движению, а при желании—и бежать в Россию... Но случилось иное. Жизнь талантливого и крупного человека, отдавшего свои силы народному делу, оборвалась внезапно, жестоко и бессмысленно.

Осенью 1891 года, заканчивая косьбу, Алексеев через проезжих, якутов известил, чурапчинских товарищей, что вскоре он, по обыкновению, отправится в город и по пути погостит у них. Чурапчинцы ждали его со дня на день, но Алексеев все-таки не приезжал. Якутские дороги—это по большей части верховые тропки; они вьются то по узеньким лесным просекам, то почти теряются в непролазных болотах. Путнику приходится перебираться вброд через речки, а иногда, не добравшись за день до жилья или сбившись в путанице всяких тропок, заночевать прямо

в тайге, в совершенно неведомом месте, на холоду и в сырости. Бывали в прежней жизни ссыльных и случаи нападения на путников дорожных разбойников (так погиб революционер Павел Орлов), или якутов, принявших странствующих политиков за разбойников и, в предупреждение их нападения, поспешивших напасть на них самим большой толпой, с кольями и с топорами (случай со ссыльными Рубинком и Щепанским). В виду таких возможностей, при долгом отсутствии Алексеева кто-нибудь из чурапчинцев проехал бы за 70 верст в Жулейский наслег справиться, в чем дело. Но опасения товарищей несколько умерялись тем, что мог человек по каким-нибудь соображениям отправиться в город и другой дорогой, а не той, которая проходит через Чурапчу.

Случилось, что как раз в это время несколько человек из числа чурапчинских ссыльных было вытребовано с казаком в город для заключения их ненадолго в тюрьму по одному политическому делу, возникшему уже в Якутске. Товарищи поручили им раньше, чем они отправятся в тюрьму, узнать, в городе ли Петруха, а если его там нет, то попросить исправника немедленно откомандировать в Жулейский наслег заседателя (станового пристава), с тем, чтобы тот прихватил на Чурапче кого-нибудь из тамошних ссыльных и вместе с ним произвел расследование всех обстоятельств загадочного исчезновения.

В городе Петрухи не оказалось и арестованные чурапчинцы сообщили исправнику свои опасения. Заседатель был тотчас же командирован, а для подмоги в расследовании всех обстоятельств дела чурапчинцы присоединили к заседателю своего товарища М. Э. Новицкого, в дальнейшем же пути к ним присоединился и ближайший сосед Алексеева Э. К. Пекарский, живший от него всего в 18 верстах.

Узнав об исчезновении государственного преступника, власти прежде всего должны были подумать, что он бежал. Но товарищи думать этого никак не могли. Побег без всякого предупреждения кого бы то ни было из своих—дело у революционеров небывалое. Всегда о готовящемся побеге хоть несколько человек, но знают заранее, и почти всегда многие помогают или в подготовке такого нелегкого дела или в укрывании совершившегося побега возможно долгое время. Кроме того, на такую сумму, как двести рублей, имевшиеся у Алексеева, из Якутской области уйти в то время было невозможно. Железной дороги через Сибирь тогда не было и до ближайшей железно-дорожной станции надо было пробираться пешком или на лошадях 5000 верст,—а на это требовалось конечно не 200 рублей, а гораздо больше... В настоящем случае товарищи были вполне уверены в том, что произошло какое-то несчастие и, возможно, что именно—убийство.

т. к. окрестные якуты считали Алексеева человеком состоятельным и могли правильно сообразить, что, отправляясь в город за покупками, он не оставит своих денег в пустом доме, а захватит их с собой. Наибольшие подозрения, что и оправдалось, питал Пекарский, давно живший в этой местности, прекрасно владевший якутским языком и знавший о соседних якутах всю их подноготную. В самом же начале расследования он заподозрил двоих близких соседей Алексеева Федота Сидорова и Егора Абрамова, якутов очень плохой репутации, постоянно набивавшихся к русскому соседу со всякими непрошенными услугами.

Сначала все опрошенные якуты отнекивались полным незнанием: уехал, мол, человек в город, а когда именно и каким путем—не ведаем. Со временем, однако, им пришлось изменить их первоначальные показания и они стали путаться. Факт преступления становился в высшей степени вероятным. У некоторых якутов произвели обыск и нашли у Федота несколько совершенно новых пятирублевых бумажек с номерами подряд, а такими бумажками политическим ссыльным выдавалось их ежемесячное пособие, у простого якута подобным бумажкам неоткуда было взяться. У обоих заподозренных на их одежде были обнаружены многочисленные кровяные пятна, о происхождении которых оба дали об'яснения очень сбивчивые и неправдоподобные Чтобы лишить предполагаемых убийц возможности сноситься со своими родственниками и наставлять тех, какие им давать показания, и Сидорова и Абрамова арестовали и отвезли на Чурапчу, а там поместили в домиках тамошних политических ссыльных, в полном разобщении от других якутов. Это сильно подействовало на более нервного Абрамова, он часто волновался, путался в своих показаниях все более и более, и наконец, покаялся перед заседателем и открыл ему, как было дело.

В передаче Э. К. Пекарского показание Абрамова излагается так: „Сидоров сообщил как-то Абрамову, что ему удалось через окно подсмотреть, как Алексеев раскладывал на столе кредитные бумажки... (Якуту показалось, что тут целые тысячи)... и стал подбивать Абрамова заманить куда нибудь Алексеева и убить, а после него деньги разделить пополам

„Надо думать,—говорит Пекарский,—что Сидоров подсмотрел, как Алексеев зашивал деньги в свой суконный азям. Обоим заговорщикам было известно, что Алексееву очень хотелось узнать кратчайшую дорогу до Чурапчи и они условились между собою, что рано утром, в определенное время, Сидоров постучится к Алексееву и станет торопить его поскорее одеться, если он желает знать ближайший путь на Чурапчу, так как он, Сидоров, должен

сейчас же ехать в том направлении. Абрамов в это время должен будет выйти с правой стороны дороги им на перерез, как бы высматривая удобное для косьбы место на находящейся близ дороги елани. Елань эта находилась в одной-двух верстах от родового управления и жилища Абрамова. Когда Алексеев и Сидоров под'ехали к условному месту, тут же показался у опушки леса Абрамов с горбушею (коса) на плече, поздоровался с Алексеевым и, чтобы устранить у последнего всякое опасение, бросил горбушу в остожье, затем подошел к Алексееву и Сидорову поговорить, как это водится обыкновенно между якутами. На вопрос Алексеева, не думает ли Абрамов косить на этой елани, Абрамов ответил, что хотел бы начать косить, да что то голова болит. Тогда Алексеев будто бы вынул из кармана бутылку водки и предложил выпить ему и Сидорову.

„Я,—рассказывал Абрамов,—немного отпивши, опять-таки чтобы рассеять у Алексеева всякое подозрение, ответил, что пусть-де водка останется для него самого, так как ему все-таки ехать порядочно. Сидоров совершенно отказался от водки. Алеексеев немного отпил и затем бутылку спрятал в карман. После этого Алексеев и Сидоров стали собираться в дальнейшую дорогу. Я подскочил к лошади Алексеева и из уважения взял ее под уздцы, при чем обратил внимание Алексеева, чтобы он подтянул подпруги у своего коня. Когда Алексеев занялся этим делом (то-есть повернулся к собеседникам спиной и нагнулся, стягивая ремни), Сидоров с силой пырнул Алексеева в правый бок. Алексеев, обернувшись, одной рукой схватил Сидорова за грудь, а другой за правую руку, и, обладая громадною силою, повалил того на землю. Я было растерялся; у меня мелькнула мысль сесть на лошадь Алексеева и удрать, но в это время Сидоров властно и настойчиво стал кричать: „коли! коли!“ Повинуясь этому приказанию, я выхватил свой нож и, всадив Алексееву в самый крестец, стал водить ножом поперек, пока тот не выпустил из своих рук Сидорова. Поднявшись на ноги, Алексеев пошел по дороге, как бы ища чего-то. Меня взяла оторопь при мысли, что Алексеев найдет дрючок и при своей богатырской силе укокошит кого-либо из нас. Пока я размышлял, не удрать ли мне и в самом деле на алексеевской лошади, Сидоров начал наносить Алексееву, направившемуся в обратную сторону, по дороге домой, удары ножом один за другим куда попало. Алексеев все более замедлял шаг и, истекая кровью, упал. Тогда Сидоров нанес последний удар в левый бок. После этого мы ножи свои воткнули в землю у основания придорожной лиственницы, труп Алексеева связали ремнями, притянули голову к ногам, и затем, продев палку, подняли на плечи и унесли в глубь тайги, где

опустили труп в глубокую лесную ямину, завалив ее обильным валежником".

Вскоре, по указаниям Абрамова, был обнаружен в глубокой лесной яме, под кучей земли и хвороста, уже замерзший труп Алексеева, покрытый 22 ножевыми ранами глубиною до $2^1/_2$ вершков. Очевидно, убийцы озверели и кололи куда попало со всего плеча. Рассказывают даже, будто Абрамов пел и плясал над трупом.

Ссыльные похоронили Алексеева близ его жилья, в ограде небольшой часовни, а Пекарский приобрел впоследствии небольшой камень, вырезал на нем дату убийства (1891 год), имя и отчество покойного, и распорядился о постройке над могилой деревянной ограды и навеса. Целы ли они теперь,—неизвестно. С от'ездом из Якутской области последних товарищей Алексеева некому стало охранять где-то в Жулейском наслеге далекой Якутии место успокоения чужого для якутов человека, погибшего здесь тридцать лет тому назад...

Царское правительство, совершенно незнакомое с условиями жизни в том крае, куда оно спроваживало своих противников, долго не могло поверить в гибель Алексеева и питало опасения, что он бежал. Департамент полиции после первых же известий об исчезновении этого ссыльного циркулярно предписывал подведомственным ему учреждениям принять все меры к розыску такого тяжкого преступника, при чем характеризовал его такими словами:

„Алексеев, происходя из простого звания, обладая природным умом и бесспорным даром слова, представляет собою вполне законченный тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих убеждениях, и едва-ли после побега удовольствуется пассивной ролью, а, напротив, воспользуется обаянием своего имени в революционной среде и, несомненно, перейдет к активной деятельности, которая может оказаться, в особенности же в пределах империи, весьма вредною для общественного порядка и безопасности".

Если под „общественным порядком и безопасностью" подразумевать,—как подразумевал департамент,—царство неограниченного произвола и полное бесправие народа, то, конечно, для такого „порядка" Алексеев был „весьма вреден". Но в глазах всех тех, кто видит „порядок" не в угнетении, а в справедливости, не в рабстве, а в законной свободе, последние слова департамента полиции составят для покойного наивысшую хвалу, достаточную для того, чтобы сохранить за именем Петра Алексеева память в потомстве.

